

---

---

## Раздел 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ СПЕЦИФИКА

УДК 94(574).081 + 316.723.5

DOI 10.31518/978-5-4437-1874-3-286-294

*С.В. Любичанковский<sup>1</sup>*

### ОБРАЗ КАЗАХОВ ГЛАЗАМИ ИХ ПЛЕННИКА: ИСТОРИКО-ИМАГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РУССКОГО ОФИЦЕРА 1840-Х ГГ.\*

**Аннотация.** В статье проводится историко-имагологический анализ записок русского офицера, участвовавшего в экспедиции в Казахскую степь в 1840-х гг. и попавшего в плен к сторонникам Кенесары Касымова. Текст мемуаров рассматривается как ценный источник для реконструкции этнических стереотипов и восприятия «Другого» в условиях взаимодействия Российской империи и кочевых народов. Анализируются формирующиеся в повествовании образы казаха-воина, казаха-кочевника, а также механизмы личностной идентификации автора в ситуации плена.

**Ключевые слова:** имагология, Казахская степь, Российская империя, XIX век, этнические стереотипы, мемуары, имперский дискурс.

*S.V. Lyubichankovskiy<sup>2</sup>*

### THE IMAGE OF THE KAZAKHS THROUGH THE EYES OF THEIR CAPTIVE: A HISTORICAL AND IMAGOLOGICAL ANALYSIS OF A RUSSIAN OFFICER'S MEMOIRS FROM THE 1840S

**Abstract.** The article presents a historical and imagological analysis of the notes of a Russian officer who participated in an expedition to the Kazakh Steppe

---

<sup>1</sup> **Сергей Валентинович Любичанковский**, д-р ист. наук, г.н.с., Институт истории СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: svlubich@yandex.ru

<sup>2</sup> **Sergey Valentinovich Lyubichankovskiy**, Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher, Institute of History SB RAS, Novosibirsk, Russia, e-mail: svlubich@yandex.ru

\* Статья опубликована в рамках реализации проекта «Россия в Центральной Азии: модернизация, культурные связи, мемориальная политика (вторая половина XVIII – начало XXI вв.)» (FWZM-2025-0001).

in the 1840s and was taken captive by the supporters of Kenesary Kasymov. The memoir text is considered a valuable source for reconstructing ethnic stereotypes and the perception of the “Other” in the context of the interaction between the Russian Empire and nomadic peoples. The analysis focuses on the emerging images of the Kazakh warrior, the Kazakh nomad, as well as the mechanisms of the author’s personal identification in the captivity situation.

**Keywords:** imagology, Kazakh Steppe, Russian Empire, 19th century, ethnic stereotypes, memoirs, imperial discourse.

Записки неназванного русского офицера, опубликованные в 1848 г. под названием «Четыре месяца в Киргизской степи», представляют собой уникальный источник личного происхождения. Они не только фиксируют события военной экспедиции против отрядов Кенесары Касымова, но и, что особенно ценно, содержат подробный рассказ о пребывании автора в плену. Этот опыт позволяет выйти за рамки стандартного имперского нарратива и проанализировать, как под влиянием экстремальной ситуации трансформируется восприятие представителя доминирующей культуры по отношению к носителям культуры подчиняемой.

Имагология как направление исторической антропологии изучает механизмы формирования и функционирования образов «своих» и «чужих» в историческом контексте. Воспоминания офицера являются классическим объектом для такого анализа, поскольку они отражают не объективную реальность, а ее субъективную рефлексию, пропущенную через призму культурных стереотипов, личного опыта и имперского мировоззрения.

Изначальный образ казаха-воина, с которым автор сталкивается в бою, окрашен в негативные тона и соответствует распространенному имперскому стереотипу о «диком» и «неорганизованном» кочевнике. Он описывает атаку как хаотичное действие, лишенное тактической грамотности, присущей регулярным войскам: «вся эта толпа, приблизившись к нам на ружейный выстрел, осадила коней своих и... стала на место и только продолжала оглушать нас криками»<sup>3</sup>. Автор с плохо скрытым презрением отмечает неэффективность их оружия и тактики: «некоторые из батырей открыли по нас огонь из своих самопалов, но... как безвредны были эти выстре-

---

<sup>3</sup> Четыре месяца в Киргизской степи // Отечественные записки. 1848. Т. IX. Отд. II. С. 191.

лы, производимые верховыми людьми посредством фитилей и на горячих лошадях»<sup>4</sup>. Для русского офицера это служит доказательством военно-технического превосходства империи и подтверждением правоты имперской экспансии.

Однако, попав в плен, автор обнаруживает иные, заставляющие его задуматься качества. Его поражает не только жестокость, но и высокое мастерство, с которым его обездвжили: «разбойники, должно признаться, мастерски связали мне руки и ноги»<sup>5</sup>. Этот сугубо профессиональный навык, результат многовековой практики ведения степной войны, заставляет его если не уважать, то признать определенное умение противника, выходящее за рамки образа примитивного дикаря. Более того, его охранники демонстрируют не слепую жестокость, а строгое соблюдение своего внутреннего кодекса поведения. Немедленная угроза смерти за попытку побега – «молчи, или убьем тебя»<sup>6</sup> – сочетается с четким и ясным обещанием хорошего обращения при условии покорности: «никто меня пальцем не тронет, если только я сам буду вести себя смирно»<sup>7</sup>. Этот своеобразный «контракт» между пленником и похитителем, основанный на взаимном соблюдении условий, рождает сложный и противоречивый образ, в котором «дикость» и жестокость соседствуют с примитивным, но четким понятием о справедливости и договоре.

Этот дуализм проявляется и в описании военных обычаев. С одной стороны, автор с ужасом и отвращением описывает зверскую расправу над захваченным разведчиком Баджимом: «Весь труп покрыт был ранами; во многих местах носил он на себе следы ожогов. Видно было, что несчастный подвергся ужаснейшим истязаниям, прежде чем удар топора пресек его жизнь»<sup>8</sup>. Этот акт демонстративной жестокости предназначен для устрашения и воспринимается автором как проявление «чисто азиатской» варварской сущности. С другой стороны, тот же самый противник, Кенесара, проявляет стратегическую дальновидность, используя против преследующего его отряда испытанное степное оружие – выжженную землю: «мя-

---

<sup>4</sup> Четыре месяца в Киргизской степи... С. 191.

<sup>5</sup> Там же. С. 195.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же. С. 197.

<sup>8</sup> Там же. С. 189.

техники для удержания нашего наступления зажгли степь»<sup>9</sup>. Этот тактический ход, эффективный и безжалостный, говорит о наличии недюжинного военного ума, что опять-таки не вписывается в упрощенный образ бестолкового и жестокого дикаря. Таким образом, в описании автора казах-воин предстает фигурой дуальной: он одновременно и свирепый, склонный к немотивированной жестокости варвар, и умелый, адаптированный к своему ландшафту боец, обладающий специфическими знаниями и своеобразным воинским этосом.

Автор, как представитель оседлой, технически развитой цивилизации, с нескрываемым удивлением и профессиональным интересом описывает уникальные умения кочевников, жизненно необходимые в степи. Его повествование становится гимном практическому знанию, доведенному до совершенства многовековым опытом выживания в экстремальных условиях. Он с восхищением пишет о вожаках-проводниках, чья способность ориентироваться в безбрежной и однообразной степи кажется ему сверхъестественной: «Самая заботливый русский помещик едва ли так хорошо знакомится с своими угодьями... как эти батыри ознакомились с бесконечным пространством степи»<sup>10</sup>. Его поражает их умение не просто запоминать путь, а читать следы и предсказывать по ним прошлое с детективной точностью: «Заметив след, они... утвердительно скажут вам: когда проезжали тут люди, сколько их было, друзья ли они или недруги»<sup>11</sup>. Это мастерство, сравнимое с научным методом, заставляет автора признать интеллектуальное превосходство кочевников в их стихии, их «сметливость»<sup>12</sup>, которая оказывается надежнее самых точных карт.

Не менее важной составляющей образа является глубоко укорененная суеверность казахов, которая для рационального сознания офицера представляет собой любопытный и непонятный феномен. Он подробно и с этнографической точностью останавливается на ритуалах, например на гаданиях на бараньей лопатке: «Самое употребительное гаданье производится посредством бараньей кости,

---

<sup>9</sup> Четыре месяца в Киргизской степи... С. 189.

<sup>10</sup> Там же. С. 158.

<sup>11</sup> Там же. С. 175–176.

<sup>12</sup> Там же. С. 175.

которую кидают на время в огонь и потом по образовавшимся на ней трещинам предсказывают будущее»<sup>13</sup>. Он фиксирует и другие проявления мистического мировоззрения: веру в то, что змея не может переползти через веревку из конского волоса<sup>14</sup>, или обычай отмечать путь от могилы к воде камешками, чтобы умерший мог напиться<sup>15</sup>. Автор иронизирует над этими верованиями, особенно над случаем, когда грозное предсказание гадателя о пролитии крови было «исполнено» преднамеренным убийством сайгака<sup>16</sup>. Однако эта ирония носит снисходительный характер, свойственный взгляду европейца на «отсталые» народы. Для него эти суеверия – еще одно доказательство их «дикости», но одновременно и неотъемлемая, колоритная часть того загадочного и чуждого мира, в который он попал, мира, где рациональное и иррациональное переплетаются в единую картину бытия.

Этот дуализм восприятия ярко проявляется в описании взаимодействия с ландшафтом. Кочевник предстает идеальным продуктом своей среды, чьи навыки доведены до автоматизма. Автора поражает, как вожаки ориентируются по звездам: «Вожаки обыкновенно замечают, какое положение должно принять относительно полярной звезды... чтобы перейти от такого-то места на другое»<sup>17</sup>, или как они определяют время по положению созвездий. Эти умения, не уступающие по точности навигационным приборам, вызывают у него неподдельное уважение. Но тот же самый человек, столь рациональный в выживании, оказывается во власти примет и духов. Таким образом, в глазах пленника казах-кочевник оказывается живым воплощением этого контраста – великолепный технолог степной экосистемы и в то же время заключенный в плен магического мышления, что делает его образ для русского офицера одновременно притягательным и чуждым, восхищающим и непонятым.

Наиболее глубокая и интересная трансформация образа «чужого» происходит в сознании самого повествователя по мере погружения в реалии плена. Изначальный образ, сформированный в бою, был четким и однозначным: казахи – безликие «хищники», «мятеж-

---

<sup>13</sup> Четыре месяца в Киргизской степи... С. 173.

<sup>14</sup> Там же. С. 186.

<sup>15</sup> Там же. С. 166.

<sup>16</sup> Там же. С. 174.

<sup>17</sup> Там же. С. 182.

ники» и «разбойники», воплощение враждебной стихии, которую необходимо укротить силой оружия. Однако ситуация плена, предполагающая длительный и непосредственный контакт на иных условиях, кардинально меняет оптику восприятия. Первоначальный ужас, испытанный автором от осознания своего положения, был усугублен специфическим «погребением заживо» в кургане, который он по ошибке принял за свою могилу: «Страшная догадка, от которой кровь застыла у меня в жилах... Мне представилось, что напавшие на меня киргизы... сочли меня мертвым и похоронили заживо»<sup>18</sup>. Это состояние стало апогеем отчуждения и абсолютного страха перед «дикостью» кочевников.

Однако этот экзистенциальный ужас парадоксальным образом сменился почти облегчением, когда он услышал грубый окрик своего сторожа: «Молчи, или убьем тебя»<sup>19</sup>. Этот не слишком приветливый голос показался ему в ту минуту «так же сладок, как только может казаться любовнику признание, вылетевшее из уст возлюбленной»<sup>20</sup>. Данный контраст знаменует переход от абсолютно бесчеловечного абстрактного образа мучителя к конкретному, хоть и враждебному, но человеческому взаимодействию. Его статус кардинально меняется с положения побежденного врага, которого можно было безнаказанно убить, на положение ценного актива, «говорящей вещи». Именно это осознание и становится основой для полного пересмотра отношений.

Отношения между пленником и похитителями выстраиваются не на эмоциональной или моральной основе, а на сугубо утилитарной рыночной логике. Автор с изумлением обнаруживает, что его жизнь охраняется не из гуманных побуждений, а потому что он – дорогой товар, потенциальный источник обогащения: «Жизнь моя, с сохранением которой соединена была обольстительная надежда на получение нескольких десятков скакунов и халатов – жизнь моя... сделалась для разбойников предметом самых нежных попечений»<sup>21</sup>. Курьезным и крайне показательным моментом, раскрывающим эту новую логику взаимоотношений, становится вопрос одного из ко-

---

<sup>18</sup> Четыре месяца в Киргизской степи... С. 194.

<sup>19</sup> Там же. С. 195.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же. С. 197.

чевников о том, какую цену за себя назначает сам пленник: «Один из них даже очень простодушно спросил меня, как я думаю об этом предмете, то есть как высоко ценю я сам себя»<sup>22</sup>. Этот диалог, напоминающий торг на базаре, символизирует фундаментальный переход от отношений «победитель – пленник», основанных на праве сильного и милости, к отношениям «продавец – покупатель», основанным на взаимовыгодной сделке. «Дикий» кочевник оказывается в глазах автора расчетливым предпринимателем, рациональным экономическим агентом, что заставляет его бессознательно признать в противнике рациональное начало, понятное и ему самому как представителю современного мира.

Эта метаморфоза – от образа свирепого иррационального варвара к образу прагматичного контрагента – является ключевой в имагологическом плане. Она демонстрирует, как экстремальная ситуация плена, разрушая первоначальные стереотипы, вынуждает имперского наблюдателя увидеть в «Другом» не монолитный образ врага, а сложную личность, руководствующуюся собственной системой практических и экономических ценностей. Это признание общего прагматического языка становится для русского офицера первым, пусть и сугубо утилитарным, шагом к преодолению барьера между «своим» и «чужим».

Проведенный историко-имагологический анализ воспоминаний русского офицера 1840-х гг. позволяет сделать вывод о глубокой амбивалентности и динамичности образа казаха в сознании представителя имперской культуры. Записки представляют собой ценный источник, в котором имперский дискурс не просто воспроизводится, но и подвергается напряжению и коррекции под влиянием непосредственного, в особенности экстремального, опыта взаимодействия с «Другим».

С одной стороны, нарратив пронизан установками, типичными для имперского сознания середины XIX в. Автор последовательно использует лексику, рисующую казахов как «хищников», «мятежников» и «разбойников», акцентируя их «дикость», «неорганизованность» в бою и «суеверность». Этот набор характеристик служил легитимации цивилизаторской миссии России в степи, представляя ее расширение как наведение порядка и привнесение прогресса в про-

---

<sup>22</sup> Четыре месяца в Киргизской степи... С. 197.

странство, воспринимаемое как хаотичное и отсталое. Данный взгляд соответствует ориенталистской модели, описанной Э. Саидом, где Восток конструируется Западом как иррациональный, подчиненный и нуждающийся в управлении<sup>23</sup>.

С другой стороны, ценность источника заключается именно в том, как этот монолитный стереотип трескается и усложняется под давлением реальности. Непосредственный близкий контакт, особенно в условиях плена, заставляет автора видеть не абстрактного «дикаря», а конкретных людей со сложной системой практик и отношений. Офицер вынужден признать и зафиксировать не только «дикость», но и высокую профессиональную адаптивность, выучку, строгие внутренние законы и хозяйственный прагматизм своих поработителей. Его повествование колеблется между страхом и восхищением, отчуждением и вынужденным уважением, основанным на признании общих черт, прежде всего рационального расчета.

Кульминацией этой трансформации становится ситуация плена, где отношения «победитель – пленник» трансформируются в отношения «продавец – покупатель». Тело офицера становится товаром, а его жизнь охраняется не из гуманности, а в силу его меновой стоимости. Этот шокирующий для него опыт является ключевым имагологическим сдвигом. «Дикий» кочевник низводится с пьедестала мифологического Чудовища до уровня расчетливого контрагента, чье поведение поддается логическому осмыслению и даже оказывается в чем-то родственным прагматизму европейского сознания.

Таким образом, текст воспоминаний становится не просто хроникой военного похода и плена, а сложным многоголосым свидетельством диалога культур на границе империи. Он наглядно демонстрирует, как имперский стереотип, сталкиваясь с комплексной реальностью, вынужден адаптироваться, включая в себя противоречивые наблюдения. Офицер так и не отказывается от имперской оптики, но его рассказ фиксирует момент кризиса упрощенных представлений, обнажая пропасть между идеологическим клише и сложностью человеческих практик. Эти мемуары являются ценным свидетельством того, как в межкультурном взаимодействии даже в

---

<sup>23</sup> Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. 636 с.

самых неравных и враждебных условиях происходит не только конструирование «Другого», но и его неизбежное усложнение, разрушающее первоначальные однозначные образы.

### ***Литература***

Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006. 636 с.

Четыре месяца в Киргизской степи // Отечественные записки. 1848. Т. IX. Отд. II. С. 141–224.

### ***References***

(1848). Chetyre mesyatsa v Kirgizskoy stepi [Four months in the Kirghiz steppe]. In *Otechestvennye zapiski*. Vol. IX, sect. II, pp. 141–224.

Said, E.W. (2006). *Orientalism. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism. Western Conceptions of the Orient]. St. Petersburg, Russkiy Mir. 636 p.